

# Детство Кота

Детство не впусит обратно, но не отпустит всю жизнь  
Р-М.Рильке

Действующие лица:

Я (15 лет, 1 и 2 части мемуаров “Путь мой” из толстой красной тетради, с приклеенным изнутри усатой фотографией сомика Максима Горького. Текст без скобочек)

Я (26 лет, текст в скобочках)

Мама

Папа

Бабуля

Ю-ю

3-6 куриц

Несколько котов

(Что мы помним о самих себе Тех, из другого времени. Знали ли Те они, в том своем круглом и розовом мире, что впереди дорога, которая не пощадит слабого и малодушного, не даст послаблений и никогда не примет твоих компромисов. Что мы вообще знаем о времени? Что мы стараемся вспомнить и забыть? И счастливы ли мы в своем забвении?)

...Я родилась, как и моя обожаемая подруга Наталья Викторовна, в городе Геленджике, разноцветным и разнопогодным февральским днем. Детство раннее я почти не помню, лишь кастрюли молока, которые я выдувала за раз, помню первый испуг: я была в коляске во дворе, и вдруг на меня с высоты слетела какая-то птица - не то сова, не то летучая мышь. Это было ужасно! Другое воспоминание - это мой чудесный, запущенный, завитый плющом и заросший сорняками дом и двор на улице Кирова...

(Когда она писала это шестнадцатилетнее произведение десять лет назад, то отчаянно пыталась просто наделать закладок, памяток и соорудить хоть краткий конспект лет, которые, как мне казалось, безнадежно могут истлеть в тленных сундучках памяти. И поставив эпиграфом слова Рильке, она тогда еще не осознавала, насколько они точны. Детство не впусит - но становясь взрослее ты больше и больше понимаешь насколько это все незабываемо, неразрывно, дорого и определяемо для всей жизни. Вы думаете люди меняются или совершенствуются став взрослыми? Нисколько. Они только наваливают на себя воз образований, ворох ненужных знаний и книг, хвост привязанностей и долгов. Но что-то основное, природное, определяющее, на знаю - разум, ум, все- остается тем же, таким же, там же. В много лет назад.

В шестнадцать лет ненавистный всеми Максим Горький, подлый коммунист и лицемер большевизма, был мне единственным родным человеком. Равно как и сейчас, после кучи образований и, слава богу, мучительно закончившейся самоидентификации. Равно как и сейчас я убеждена, что любой эстет, мечтающий о весе в искусстве, обязан надеть ботинки покрепче и уйти “в люди”. На дно. В жизнь.

Я не имею никаких амбиций в искусстве, тем более в литературе. Просто потому, что не спится в 5 утра - пишу. И зная свой долг перед несколькими котами, тремя курами и бабулей, пытаюсь запечатать в памяти все, чем был для маленького человека Тот мир.

Ибо они, те, перед которыми я в долгу, живут нашей памятью. А я живу своими воспоминаниями.

Именно детство это то время, которое обязан вспомнить и пережить заново каждый человек. Все в нем, все оттуда. Все, кроме перечитанных книг и любовных разочарований, которые запрещены и скучны в том бесполом мире. Мир между бытием и небытием, сказкой и реальностью.)

...Никогда в жизни ни одно место не было мне роднее того потрескавшегося дома. Для взрослых это была лишь развалины, старые и неухоженные(среди которых моя мама после долгих распрей, добилась таки заасфальтировать дорожки, а потом раздробленные дождем камешки из асфальта так любили выковыривать я и еще несколько моих друзей-кур).Но для меня это была целая вселенная, загадочная и интересная, в которой я с каждым днем открывала что-то новое и удивительное. Мое познание мира начиналось именно с этого двора, и это место я старалась не позабыть всю жизнь, хотя чувствую, что постепенно все детское стирается, уступая место новым, юношеским впечатлениям.

Я не скажу, что была одинока. Да, я избегала детских компаний, но со мной были бабуля, бумага, карандаши, мои песни, которые я сочиняла каждому времени года и пела, раскачиваясь на качелях или на ветке инжира, похожего на окаменевшего гладкого зверя. И был этот напоминающий большую свалку двор, в котором я души не чаяла. Каждый уголок был мне дорог, с каждым кусочком что-то связывало. Помню раннее утро - я лежу с бабулей в ее похожей на баррикаду железной кровати (сооружения из халатов, “тряпочек” неизвестно для чего собранных в бесконечно-лоскутковый кроватный мир. Маленьких, совсем маленьких, маленьких и сделанных из тех же самых тряпочек подушек, с деньгами, закопанными где-то в этом невообразимом меж-подушечье. Маму трясло от этого бардака, но для меня это был огромный корабль, увешанный флагами-тряпочками, говорящими матрасами, ковром, за которым была потрескавшаяся стена с облупившейся штукатуркой, мышами Под, загадочным чердаком и ночными птицами Над. И грузным телом бабули, утопающей в этом кроватном хламе. С изучения кровати-корабля началось мое познание мира, который постепенно расширялся до остальных трех комнат, нескольких шкафов, старых пластинок, печки с гревшейся на ней пшенной кашей и виноградным вареньем.

Хочу я сейчас вернуться в тот дом? Нет. Никогда. Все возвращения чреватые лишь только разочарованием. Это страшный маленький облупившийся домишко жив и сейчас, приговоренный к сносу около пятнадцати лет назад и застроенный вокруг кирпичными огромными великанами.

Каждый раз когда я приезжаю в Геленджик, я прохожу мимо, не пытаюсь заглянуть вовнутрь. Я ни за что бы туда не возвратилась, но я помню все - все до последней паутины в углу - или просто внушаю себе это. Я помню тот мир: он был огромен, странен, могуч, то светел, то темен, и я плыла на своем корабле-кровати по ночным дворам под завывание Норд-Оста. Как это ни странно, я все помню), в другой комнате уже горит свет, и радио-позывные с перечислениями времени по всем часовым поясам страны и мое самое любимое: “В Петропавловске-Камчатском полночь”, папа жужжит электрической бритвой, мама собирается на работу. А на улице - хоть глаз выколи, но мне ужасно хорошо чувствовать себя рядом с кем-то большим и теплым.

Детство и тот старый дом я не могу разделить на две части, они неразрывны для меня. Как и все вокруг тогда. Как и первое полюбившееся тогда стихотворение Пушкина: “Вот север тучи нагоняя дохнул, завыл и вот сама идет волшебница зима”, которое я прочла именно там под глухое завывание ветра и тот легкий, пушистый настил снега на земле.

(Я родилась зимой, хоть до весны и оставалось два дня. Но я родилась зимой. Всем своим существом ненавижу холод, мороз и ветер, я в глубине души понимаю, что голые деревья мне дороже листвы, Снежная Королева и Шелкунчик любимее праздничных Пеппи, Питер Пена и Карлсона, а сочетание белого и черного любимейшее в искусстве. Зима тихая, повелевающая, с горстью сказок и оживших новогодних игрушек, с трубочистами и резвящимися в небе звездами, с темнотой и свечами. Когда-то зимой, забившись за занавеской в кровати ненавистного Краснодара, я написала свои первые мемуары. Зимой я всегда пыталась успеть снова стать ребенком).

В комнате полумрак. Да, а где же стояла елка? Или ее вообще не было? Нет, была, была, ведь именно с детства я принесла с собой этот терпкий запах сосны и огромных мандарин, ассоциирующийся у всех с новым годом. А еще я помню мое день рождения - мне было четыре года. В угловой комнате маленький столик, на нем четыре свечки (в торте, конечно). Я никак не могла их задуть. И как сейчас помню Саша Осипов помогал мне в этой тяжелой повинности.

В детстве я обожала петь- страсть у многих детей похожая. Я регулярно забиралась на самую верхушку старого инжира или на крышу сарая и горланила арии собственного сочинения, бывшими для меня вершиной композиторского мастерства. А бабуля выходила и кричала :”А ну-ка слезай оттуда!” Я смеялась и забиралась еще выше.

(Я помню свой гимн весне. Весна была моим вторым по любимости временем года, так как я родилась все-таки за два дня до нее. Мои арии были примитивны и несовершенно - это я осознавала даже тогда, ибо мои каракули на всех

попадавшихся под руку предметах белого цвета, иными словами, на всем том, где только можно что-либо нарисовать, удовлетворяли меня больше. С музыкой были проблемы иного порядка- я не умела придумывать интересные мелодии, но в отместку я награждала свои музыкальные произведения отменными детскими стихами, что должно было по-моему искреннему убеждению скрасить скудность музыки. И конечно самая оперная поза, в которой сие искусство делалось приятнее и мне, и сиреневым фиалкам, поднимающим сонные головки из-под ссохшейся травы, было свеситься вниз головой, раскачиваясь на ужасно скрипящих в такт качелях. Так, мне казалось, мир сильнее ощутит мою радость, которую я дарила этим фиалкам, этому вившемуся и пробуждающемуся винограду над головой, сойкам в кроне огромного ясеня, возвышавшегося над домом, орешнику, котам, гусеницам и небу).

А по вечерам мы ложились с бабулей спать, включали ночник - старый пластмассовый светильник в виде лилии который горел еле-еле - и в комнате воцарялся полумрак. Все ужасно напоминало сказку. Добрую сказку, в которой я буду всегда счастлива. Мы придумывали своих героев - Зайчика, Волчика, там была еще Маринка и Бармалей. Потом мама снабдила меня одевающимися на руки пластмассово-тряпочными куклами и это становилось похоже на кукольный театр на огромной кровати-корабле. И я была убеждена, что это самый небывалейший театр на свете. Наши руки были героями наших сказок- на кисть руки можно было завязать платочек или шапочку, ниже – юбка или любой лоскут ненужной ткани. Мы могли часами импровизировать- ходили друг к другу в гости под одеяло, прятались от злого Бармалея и я была в восторге.(Взрослые потом заменят эти пододеяльные игры детства большим серьезным театром, но игры именно тем и отличаются от театра, что в них ты живешь и творишь постоянно, не зная куда тебя заведет фантазия.)

Я не представляла как я могу прожить без бабули. Она у меня была непременно спутницей детства. Она любила меня какой-то последней, животной любовью, как любят очень старые и больные люди. Я ждала от нее ласки, защиты, по утрам - жареной картошки или мелко порезанного хлеба, залитого виноградным вареньем, по вечерам - удивительных(поражающих сейчас своим невежеством)все время одинаковых историй, вычитанных ею в газетах. О мальчике, воспитанном волками, о медведе, нацепившем на нос банку из-под сгущенки, которого нашли солдаты в лесу, о страшном голоде в 30-е годы, об отцовской мельнице на водопаде, отобранной коммунистами и о добром деде, раздававшем все свое добро во время голода односельчанам. (Я очень жалею сейчас, что не запоминала всего этого тогда. Но тогда меня это интересовало явно меньше фырчащих ежей, которых можно поймать и принести в дом, или медлительных черепах, найденных в огороде.)

Я не могла представить, что она умрет когда-то, как и не могла вообразить, что я ее когда-либо предаю. Она не знала сказок, воспитанная в советские годы, но мне было достаточно того, что она мне говорила. Когда-то она работала на хлебозаводе, когда-то приехала в Геленджик. То есть она сначала приехала в Геленджик, а потом работала на хлебозаводе.

Деда своего я не разу не видела, но по рассказам он был очень умный, благородный, честный и преданный делу коммунист (умерший от злоупотребления алкоголем по причине высокого поста первого председателя соответственно коммунистической партии). В молодости он батрачил, заработав кучу болезней, потом был ярый партиец, но все его грехи в глазах бабули ограничивались лишь тем, что за время своего высоко-партийного положения он, из-за своей маниакальной честности, так и не удосужился сменить хибару на хоть какие партийные хоромы. По-видимому она его никогда не любила, испытывая глубокое уважение, оставив где-то Того, любимого, бывшего настоящим моим кровным дедом, и отцом моего отца, в Латвии. В любом случае ни одного из дедов я так никогда и не видела, хотя присутствие чьих-то странных незнакомых ген во мне всю жизнь удивляло и вызывало любопытство. Она была наверное интересным человеком, но я была еще так мала, чтобы интересоваться тем-то кроме многочисленного зверья и джунглей заброшенного двора.

(Я не представляла, что смогу прожить без нее. Для меня тогда это казалось чем-то ненормальным, ненужным, холодным. Тот дом и она в нем были соединены в одно целое, нерасторжимое, теплое. Она была страшной наверное - ее дразнили на улице дети из-за костылей, которые были ее постоянным атрибутом из-за болезни ног. Она все время ходила в каких-то бесконечных халатах, рубашках, майках, тряпочках, веревочках в карманах. Раны на ногах у нее никогда не заживали, и несколько раз в день она их промывала и перебинтовывала.

Я ей варила из лепестков лилий какие-то импровизированные лекарства и она прикладывала их к ногам, уверяя меня, что ей все это помогает. Я готова была собирать мох, гусениц, хвостики ящериц и бутоны нераспустившегося жасмина, лишь бы только помочь ей. Она почти никогда не выходила за пределы двора, и любой выход в город становился событием, к которому она тщательно готовилась и даже красила губы остатком губной помады красного цвета годов 50-х.

Она не любила людей, в основном она их осуждала, как бы обвиняя весь мир за свои несчастья и инвалидность. Она не терпела детей и те отвечали ей взаимностью, дразня и в ужасе убегая от нее. Но она любила меня. Какой-то необъяснимой, нечеловечьей любовью, может мстя всему чужающемуся ее миру в своей привязанности ко мне. И я ей платила тем же. Несмотря на то, что я стояла на ушах все время, и на любое замечание “не делай этого” делала именно ”это”, несмотря на то, что я показывала ей язык свесившись с инжира и безумно капризничала, понимая ее слабость в чувствах ко мне, я бесконечно ее любила.

Все вокруг нее.

Этот обветшалый дом, с текущей весной крышей, покошенными и ободравшимися ступеньками. Двухкомфорочную плиту в коридоре, бывшем и кухней и прихожей одновременно, над которой вместо потолка было вставлено моим дедом два дверных стекла - “для света”-, и над которыми было видно дождь и летящие снежинки, а осенью желтый листопад. И спящих под столом друг на дружке кур и котов, приученных к хлебу и борщу, и темную комнату с шифоньером, запах которого помню и сейчас. И маленький черно-белый телевизор, являвшийся мне во

всем великолепии своих мультфильмов, и сервант, и фотографии, и все-все-все.

Восстановить память по крошкам почти что невозможно, но мне иногда кажется, что, написав ее, я смогу наконец отдать ей весь мой долг и вымолить хоть на коленях всю вину взросления, оглядок на чье-то мнение, трезвления.

Да, я любила этого человека - наводящего ужас, тучного, с кучей предрассудков и раздраженного на всех соседей со всех четырех сторон, на людей, отдыхающих в Геленджике летом, на людей не отдыхающих в Геленджике зимой, на весь мир. Но я была каким-то ее искуплением, и любя меня она была другой. Я сейчас почти плачу, боясь накапать на клавиатуру компьютера, но господи, как это объяснить? Как объяснить, что старое, больное, отвратительное существо на костылях, о котором может с нежностью помнят сейчас лишь два человека - мой папа(ее сын) и я, было всем - наикрасивейшим, лучшим, бесконечно неразделимым со всем ее тряпично-запыленно-захламленным миром, в котором каждый мусор приобретал свое высокое предназначение.

Я не могу ходить в церковь и ставить ей свечки, ибо наполовину не верю во всю эту обрядную чушь. Я верю лишь в память и в мою, может тщетную, попытку оживить это и дать ей силы, на любом свете - тот, этот, ад, рай - который есть, лишь исполнить свой бесконечный долг одной любви перед другой. Слепой детской и неблагодарной юношеской любви перед человеком, бывшим для меня вселенной, миром, наполненным теплом и движением.

Прости меня, хоть в этих черных строчках на светящимся зимним утром экране монитора, прости меня.

Прости за твое последнее одиночество в том наполненном шорохами и мяукающими котами дворе.

За радио, с которым ты одна засыпала и просыпалась. За то, что мне, страусоподобному подростку с гидроперидной челкой, было противно смотреть, как ты умирала в гниющих ранах и все мои клятвы оказались лишь фикцией.

За то, что как только кончилось детство меня больше не было рядом.

Ее звали Таня. Татьяна Ануфриевна Школьная.

Господи, я так хочу чтобы хоть кто-нибудь кроме меня еще помнил об этом...)

А в пять лет мама серьезно взялась за мое воспитание. Я кричала, сопротивлялась, убегала из родительского общежития в мою захламленную вселенную, но все равно приходилось возвращаться. Над дверью повесили ивовый прут для воспитательных целей, я его периодически доставала и уничтожала в клочья, но меня брали за руку и вели к ненавистному на весь остаток жизни дереву-иве срывать новый.

(Я отказывалась есть все, кроме жареной картошки и хлеба с вареньем. Я смотрела

на всех волчонком, молчала и не понимала, зачем мне весь этот скучный человеческий мир, где нет ни ежиков, ни маленьких пищущих почти лысых мышат, ни цыплят, подраставших на печке и сладко пахнущих желтым пухом, ни полноправных в том мире по принципу свободы передвижения и житья и не знавших даже понаслышке, что такое курятник, хором поющих кур, восседавших в сарае на папиных вычислительно-ракетно-самолетных приборах, и оставлявших после своих выступлений неоспоримые дурно пахнущие доказательства на небесной электронике. Всего этого чудесного наполнения был лишен как мир взрослых, пытавшихся меня дрессировать, так и мир других детей, умильно копошившихся с непонятными пластмассовыми игрушками в Освенциме под названием ясли-сад Березка (мама, прости на этом месте (моя мама до сих пор директор этого предприятия по детовоспитанию) ).

Между мамой и свекровью была кровная вражда, распутать нити которой не под силу было бы даже дедушке Фрейду, и я, как назло, оказалась камнем преткновения в ней. И самое ужасное в этом всем было то, что я любила их обеих, каждая из которых наговаривала друг на друга, а мне оставалось лишь соглашаться и с той, и с другой стороной, так как варианты примирения этих Монтекки и Капулетти были исключены в принципе.

Из детского сада я смывалась при каждом удобном случае либо к маме в кабинет, где или спала, или уничтожала каракулями листы полезной, чистой бумаги, либо на утренники, которые пыталась смотреть все до одного, так как это был своеобразный мини-театр, и даже утренники для младшей группы были мне безумно привлекательны. В детском саду меня пытались заставить тому, что в английском есть заветное слово participation, или дружное участие в предлагаемой активности. Самое страшное было поднимать руку, еще страшнее- как идиот отвечать на вопросы, но самое ужасное- здороваться. Последнее я просто ненавидела и пряталась за очаровательные мамины плассированные юбки в надежде, что от меня отстанут с бесконечным: "Скажи "Здрасьте" Марии Ивановне...Нет, что это такое...Она умеет говорить здрасьте..", и при этом меня вытаскивали из-под юбки и побуждающе дергали за руку.

Но я просто **НЕНАВИДЕЛА** говорить "здрасьте", мне кажется я ненавижу это даже сейчас, хоть говорить все-таки приходится.

Развлекать гостей, с кем-то общаться, быть милой - для меня это было равносильно кандалам и каторге. Я не понимала зачем надо кого-то развлекать, если самое интересное это развлекаться самому с собой, постигая опытно-эмпирическим путем мир вокруг нас, составлять по книжке узоры из кубиков, играть с курами и учить их петь и говорить, воспитывать цыплят - котят - мышат, строить дом под летним душем, а потом поджигать его, наблюдая как непрочное сооружение инженерной техники начинает дымиться и вот уже бабулины проклятия и потом моя пожаротушительная практика. Я не понимала, как можно променять каракули на листках, и всю эту мою непостижимую вселенную на валяние на грязном коврикe с истуканами-куклами в детском саду).

При каждом удобном случае я смывалась в свой мир, ставшим для меня чем-то

большим чем детский сад, общежитие и многое другое. В общежитие, как это не смешно, ко мне каждую ночь приходил какой-то гном. Он садился на люстру и смотрел на меня. Что-то говорил. Учил. Но я не придавала этому особого значения. Когда я сказала это родителям, они не поняли меня. “Это Щекотунчик. Если не будешь слушаться, то он спустится и защекочет тебя”. Этим они провели непреодолимую черту между мной и “щекотунчиком”. Я стала бояться его, и вместо друга он стал врагом.

Он был около 15 сантиметров, на нем были чалма и какой-то сюртук, ботинки с длинными носами - это был забавный мальчуган, правда иногда он становился стариком. Я не понимала ни одного слова, которые он мне говорил, но среди ночи будила маму, но та ничего не видела. Однажды он пришел ко мне то ли с фонариком, то ли со свечой. Я повернулась к стене, чтобы не видеть его. Чихнула. И увидела на стене светлое пятно- он направлял фонарь в мою сторону. Свет соскользнул со стены, пробежал по моему лицу и исчез. С тех пор, как я стала его бояться, он исчез и больше ко мне не приходил.

Самыми моими большими друзьями были животные. Да, именно они, такие глупые, грязные, противные, чтобы спать с ними и целоваться, и бесконечно умные и всепонимающие для меня.

(Уже тогда я поняла всю силу человеческой любви. Ибо человек способен наделять душой все вокруг - и оно будет вторить ему, слышать. Это было равносильно божественному творению, когда все любимое становится частью тебя, беря у тебя кусочек души. В общежитии, где я была лишена всего своего bestiaria, я любила пылесос под кодовым названием "Ракета-204". Он был зеленый, похожий на обрубленный огурец, но как мне казалось, симпатичный. Потом я выпросила себе плюшевого льва, ставшего моим спутником на последующие 20 лет. Они были все для меня живые. Я знала это. Я была твердо убеждена в этом. На самом деле той детской веры могло бы хватить и для апостольских хождений по воде, но лишь тогда это было ненужно и бессмысленно).

Детство мое по-большой части прошло с представителями мира пернатых - курами. То есть с крайне глупыми и ограниченными созданиями. Но я их обожала. В них я находила то, чего мне не хватало в людях - понимания и, как это не странно, подчинения. Я любила быть главной-преглавной, но так как мамой и бабулей я командовать по росту и по возрасту не могла, то всю свою режиссерскую энергию изливала на младших братьев.

Я всегда была непокорной и далекой от кротости(...господи, что она пишет???.), хотя и страдала от комплексов(..вот это правда конечно..). Птицы были моими первыми актерами для режиссера, моими первыми солдатами для командира, но безусловно, моими первыми друзьями. Ведь у животных много чему можно научиться. Я не помню имен моих питомцев, но я их любила до беспамятства(...она не помнит имен. Там точно были и петух Петя, и Ряба, и Беляночка- сейчас, десять лет спустя, я, как ни странно, помню. И это были самые оборзевшие на свете куры, потому что все попытки соорудить им курятник заканчивались перелетанием через него и всевозможным бегством, более того, я не



упускала времени поселиться в этом курятнике. Это был сараюшко настолько полуразвалившийся, с частично упавшей вниз крышей, с кучей хлама, не помнящего своего происхождения, с потрескавшимися и мохнатыми от зеленого мха досками. Так как “хозяина ” не было в доме, а папа занимался своими делами, все вокруг все больше и больше походило на сказочные декорации, чем на жилище человека. Крыши прохудились и текли, все времянки зарастали мусором, все вокруг находилось в таком запущенном состоянии, что ненавистное слово для всех детей “нельзя” здесь теряло всякий смысл. Поэтому это были мои владения, мои берлоги, мои поля, где я сажала и сеяла, деловито ходила “на базар” за семенами , покупая заодно пшеницу для кур.

К главному правительственному зданию города я отправлялась осенью собирать сухие соцветия и, обшелушивая их, складывала семена по кучкам. Из леса я приносила и сажала анемоны и подснежники, под огромным кустом калины у меня росли грибы и поганки, иногда я по весне покупала рассаду и высаживала помидоры и огурцы. Следом за мной, мечущейся в агрономо-мании, по пятам семенила вся моя куриная гвардия и разгребала лапами-граблями, склевывала посаженные семена, обкусывала любовно принесенную рассаду и потом в эйфории копошилась-купалась в золе костра.

Пару раз мои любимые друзья покушались на мои глаза: “Перепутали с зернами”, говорила бабуля, и один самый ретивый петух, по совместительству работавший сторожевой собакой, истошно гонявшейся за всеми незнакомыми людьми с ошалелыми глазами, однажды попал под папину тяжелую руку и лишился жизни. А весной я ходила на базар и покупала картонную коробку с пищащими желтыми комочками, которые как пшенная каша росли потом на печке и вырастали в белых, вздорных курочек и петушков, которые, глядучи на остальных, делали все что им заблагорассудится.

Яйца куриная гвардия соответственно несла повсюду – по древнему куриному принципу ”где присел, там успел” . Яйца можно было обнаружить и на подушке, и на мешке с крупой на кухне, но самое любимое для производства яиц место были папины ракетно-космические приборы, рядками громоздившиеся в сарае. На всевозможных датчиках высоты и светящихся в ночи железках нести яйца было наверняка вкуснее всего. И понятное дело, что кроме меня и кур, ни у кого это восторга не вызывало, то есть частенько из сарая доносились папины проклятия.

Конечно, их периодически (вместе со мной)зажали в курятник, из которого мы, более всего ценившие свободу и равенство прав всех существ на земле, радостно убегали. Я их рассаживала вокруг и пересказывала уроки по природоведению, учила с ними стихи, я их посвящала в свои детские любовные муки, я им расчесывала перья и вытирала клювики. Я с ними спала, ела, они шлялись кругом, летали по столам, по кроватям - мама кажется была в шоке от такого палеолита в конце XX века. Потом они перепрыгивали заборы и уничтожали соседских вкусных червячков, а иногда доставали приставаниями спящих днями котов- это был один из немногих куриных раев в мире, я думаю...)

Мама мне рассказывала, что в сарае я дирижировала целым куриным хором – я

взмахну рукой -поет первый голос, взмахну другой рукой- поет второй голос. Курам также были посвящены целые серии моих рисунков (..бумажно-шариково-ручковых эпопей, модные коллекции куриных шапок и сапожек. Какое-то время им было посвящено все в моей жизни...)

Первый рисунок, который поверг в восторг мою маму были Волк и Заяц, катающиеся на коньках. Долго хранилось это произведение искусства, а потом его куда-то дели.

Постепенно детство стало уступать место более зрелому возрасту. “А у детства нет прошлого...” Да, это столь удивительное время прошло и не возвратится ко мне никогда.

Я не ценила эти годы и правильно делала. Стихия детства охватила, очаровала, закружила меня и выбросила витать по свету, по жизни. Оно - как ветер, его больше не поймаешь, оно пролетело, взъерошив волосы и разгладив щеки, оставив воспоминания.

У меня было счастливое детство. Оно было прекрасно. В самых тихих и лучших снах я возвращаюсь туда - в дом на улице Кирове, к ней. Я хочу написать целую книгу-никому кроме меня этот заброшенный, копошащийся мирок наверное более не нужен.

Пока я не забыла все, пока я помню хоть отрывки, я должна запечатлеть это – в картине, в книге, в фильме. Это не должно уйти.

Я потеряла сначала дом, потом бабулю. Я осталась навсегда их должником. Мое детство- только мое и еще одного человека, которого давно нет в живых, но оно не исчезнет. Я сохраню его. Даю тебе слово.

Январь, 1992 год.

( ...

Простите меня все...

Все обитатели моего заброшенного мира под названием детство.

Простите за слово, данное бесконечно давно.

Простите за то, что я с вами лишь через десять лет в Петербурге, за окном оттепель и полпятого утра.

Это невыносимо, это невозможно - мир, который я вновь обрела после потери и о котором я помню как сейчас, зимой, потому что Там у меня была печка, согревавшая всю стену в маленькой темной комнате, где я впервые листала сказку про Угомона в иллюстрациях Петра Митурича, о котором почти пишу

диссертацию. Там у меня были видны горы из окна, на которых лежал снег и горела трансляционная башня. Там у меня был покрытый снегом двор- огромный, размером во вселенную. Там у меня были первые звериные друзья, первые собеседники и спутники.

Там была Она - большая кряхтящая масса старого женского вещества, разделявшая мою страсть к этому вечному повсеместному зоопарку. Там у меня была собственная Роза как у Маленького Принца, только мою розу звали хризантемой Белый Лебедь, она была мохнатая, щемяще пахла осенью, я на нее почти молилась, потому что это цветочное чудо являло мне какую-то первозданную, абстрактную красоту осеннего мира. На зиму я выкапывала ее корни, весной сажала вновь.

Там у меня было море цветов, травы, сорняков, пчел - ненавистные желтые нарциссы, вечные спутники моего дня рождения, обожаемые пурпурные фиалки, первыми поднимающие головки беспощадному весеннему солнцу, безграничная, благоухающая сирень, всеми цветами взрывающаяся в апреле, и постепенно белеющий бульдонеж, и удушающий ароматом жасмин.

Я кружилась над этим разноцветным миром, летала, упиваясь запахами разных времен года, подгоняла по заросшим лилиями дорожкам майских жуков, сопровождала к материнскому лону качающихся котят и развлекала рассказами кур, помогая им бороться со скукой во время высиживания яиц на папиных высотометрах. Другие дети редко появлялись в моей жизни и я все время ужасно конфузилась, потому что мне они были совершенно неинтересны, но они приходили на мое день рождения и груз развлекательной ответственности падал на плечи.

Были я, бабуля, и сипящий, клокочущий, кукарекающий мир вокруг. Детству неизвестны слова скука и одиночество. Я могла бы писать и писать, что я была бесконечно, безмерно одинока и покинута, но это было бы неправдой. Я жила как растение, не знавшее даже понятия о скуке - это было счастье. Счастье открывателя и маленького создателя вселенной, наделяющего каждый ее уголок смыслом, легендами и сказками. Счастье маленького человека, для которого не было разницы между звериным существом и людьми.

Мир был одним целым- как яйцо, единый организм, бывший объектом моего бесконечного обожания- над временем, над возрастом, над человечеством.

Потом все изменилось. С первыми друзьями, шарахавшимися в ужасе от бабули, с мнением мамы, что это “бардак, сарай и дурдом”, с восприятием того слоя знания, который называется общие ценности, культура и еще не бог весть как, но с этого момента я не помню ни-че-го.

Всю начальную школу я все еще возилась со своим все более приходящим в запустевание мирком, но став старше я ловлю себя на том, что во мне пусто, когда я пытаюсь припомнить что-либо подростковое. Во мне нет ничего- моя вселенная тихонько превращалась в песок и прах, бабуля все чаще оставалась одна и я соответственно Там появлялась все реже и реже.

У меня появились первые подруги и первый любимый мальчик, бывший самым страшным из всего класса. Все, что было дальше - школа, бесконечные квартиры, люди вокруг, книги- лишь странное вертящееся колесо, захватывающее сознание.

И вот уже первая ложь. А потом первое отречение от того, что было свято.

От себя самой.

Да, я помню это прекрасно. Я мучительно пыталась приблизиться к человеческому идеалу красивой, блестящей девочки. Не понимая, как этот идеал далек от меня, я корчилась из последних сил. Я носила на голове огромные банты, спала в украденных у мамы бигудях и пыталась быть хотя бы веселой, так как быть очаровательной совершенно не получалось.

Нормальный мир, к которому я, сутулый, несуразный и узкоглазый в латышских предков подросток мучительно пыталась приблизиться, убегал все дальше и дальше, а я истошно гналась за ним, оставляя и топча все, что было дороже всего на свете.

Я отрекалась от нее, не понимая, что это мое первое предательство. Я смеялась над ней вместе с остальными подростками, пытаюсь таким образом быть им ближе. Я стеснялась жить в этой "развалюхе", так как модно было ютиться в удобной, набрызганной иностранными освежителями воздуха квартире.

Я бросала ее все чаще и чаще.

Мне надоели ее глупые истории про "медведя" и "мальчика с волками", меня тяготил запах ее больных ног и ободранные коты. Меня раздражал туалет на улице с приколотыми на гвоздике газетами, от которых чернела и щипала вся пятая точка, этот облезлый огород, эти развалившиеся сараи, этот ужасный выщербленный асфальт.

Я становилась взрослой.

Простите меня - я помню вас всех по именам, всех моих котов, соседских собак, цыплят, цветы и ветви инжира. Я убегала, ненавидя все свое детство, казавшееся мне диким и глупым по сравнению с жизнью остальных детей, на которых я так мучительно пыталась быть похожа. Мои качели со временем заржавели, сараи еще больше зарылись в землю, а хризантема замерзла в земле, потому что однажды на зиму ее никто не выкопал.

Я предавала шаг за шагом все - мои клятвы, свою любовь. Весь мой мир, созданный собственными руками, сплетенный из пыли фантазии и наделенный душой и именами, рушился на глазах и я делала все возможное, чтобы ускорить этот непоправимый процесс растления.

Там она оставалась каждую ночь одна, постепенно теряя рассудок и удаляясь в собственные воспоминания. Иногда я заходила к ней, тяготясь разговорами и не

находя себе места. Иногда даже оставалась ночевать, но это происходило все реже и реже. Подростковые интересы были примитивны и нелепы, но еще более ужасным мне казалось мое детство, проведенное в курятнике. Я тяготилась этим и ужасно стеснялась. Я почти уже ненавидела и избегала Ее.

Простите меня.

Сколько раз мне написать это, чтобы человек, ушедший 15 лет назад, меня услышал? Какой принять обет, пост, постриг, чтобы сгладить хоть на миг всю вину моего, тогда еще детского предательства? Предательства любви? Как распластаться над этим миром, чтобы сохранить эту память, это позднее ненужное раскаяние???

Через какое-то время все решилось и разрушилось само собой. Бабуля попала в больницу с кровоизлиянием в мозг, а насчет дома было объявлено, что данная застройка подлежит сносу из-за положения в самом центре города, соседства с уважаемым пансионатом и страшного внешнего вида. Пока бабуля была в больнице, коты разбрелись по окрестностям, куры куда-то делись, а сараюшки все больше обветшали.

Я не разу не была у нее в больнице- мне было противно. Никому не нужна была она и там, и ее вежливо предлагали забрать обратно, так как “со старыми и умирающими никто возиться не хочет”.

Когда она вернулась из больницы в свой заброшенный двор, я очень редко приходила к ней.

Она стала совсем плохой, часто забывала все на свете, могла опписаться, не дойдя до ведра в коридоре. Одним словом, мне было противно, и я брезговала.

Потом, боясь сноса и потери жилплощади мои родители совершили какой-то очень хитрый по тем временам тройной обмен, и были очень горды тем, что поменяли дом и двухкомнатную квартиру на одну трехкомнатную(которую я до сих пор ненавижу) с доплатой, потраченной на идиотские картины местного Шишкина, которые за бесценок и по причине эстетического убожества были проданы за копейки несколько лет назад.

Дом Тот до сих пор не снесли.

Он так и стоит - убого переделанный и облепленный ново-греческой застройкой.

Я боюсь туда идти, понимая, что этот кусочек земли для меня Все. То, где был посажен инжир, когда я родилась, то, где я провела самое счастливое время на свете.

Бабулю, еле ходящую, перевезли в раздолбанную предыдущими хозяевами-алкоголиками трехкомнатную квартиру на четвертом этаже. Шикарный вид на море, бывший одним из главных козырей в обмене, через год был уничтожен вlepленной впереди девятиэтажкой. Бабулю поселили в маленькой комнате, где

она почти все время сидела качаясь на своей, перевезенной из старого дома опустевшей железной кровати, с которой были сняты наконец все ее “тряпочки”, и что-то бормотала глядя в никуда. Я смотрела на нее из щелки в двери, боясь зайти. Иногда она с причитаниями проползала к туалету, заглядывая по дороге в мою комнату и ища меня. Я от нее пряталась за шифоньер.

Она умирала долго и с большими мучениями, почти сгнивая на глазах.

Вся квартира была пропитана тошнотворным запахом разлагающейся плоти и я пролетала ее комнату, закрыв нос и зажмурил глаза. Какая-то раньше вражеская по идеологическим убеждением старушка, которую все звали Власевна, и которая “всех переживет, в церковь-то бегают каждый день” изредка навещала ее. Принесла бабуле, бесконечной атеистке, дешевый железный крестик на веревке.

В день, когда она умерла, я пошла на дискотеку в школе.

Я не знаю почему- мне хотелось убежать, скрыться из этой тошнотворно-воняющей квартиры, не слышать ничего, не видеть. Я превратилась в нелепого подростка с несуразными длинными ногами и мне ужасно хотелось иметь жениха и чтобы меня все любили.

Меня никто не любил.

Когда она, осунувшаяся и невероятно похудевшая лежала в гробу, мне было все равно.

Когда ее хоронили, мне было все равно тоже.

Еще долгое время я просыпалась от ее шарканья по направлению к туалету, но это были лишь мои кошмары и боязнь мертвецов. Вряд ли она была бы в квартире, если она куда и возвращалась, то в тот заброшенный двор и облупившийся дом.

Да как и я, в точности.

Прости меня.

За то, что когда тебя все ненавидели, я примкнула к ним тоже.

Прости меня за мое первое предательство любви.

Я знаю, ты меня слышишь.

Ты живая теперь....)

4 февраля, 2002.

8 часов утра.

## Детство кота. Часть 2.

Ю-ю.

(...ни в одном источнике и никогда я не встречала, что происходит с животными когда они умирают. Что происходит с ними, тихими свидетелями нашего беспамятства, когда они вдруг отравляются каким-нибудь не им предназначавшимся ядом или попадают под машину. Есть для них ад или рай? Христианство, понятное дело, ничего так и не придумало по этому поводу, буддизм увещевает, что любой из нас мог быть кошкой или собакой в предыдущем воплощении, а египтяне почитали предпоследних священными, но что с ними случается после их смерти тоже умалчивали. У меня тоже нет никаких идей по этому поводу, но фактически одно кошачье существо заменяло мне все вокруг на протяжении лет: друзей, о которых я мечтала и которые все не появлялись, каких-то близких людей, сестер- не знаю. “Юшка, Юшка, Юшка”, - и что-то маленькое, ободранное и блохастое несло в мои объятия с помойки. “Юшка, Юшка, Юшка”, - и кто-то надменный и пушистый ступал по серому одеялу на мне(у одеяла тоже было имя -Серушечка), чтобы баюкать и охранять всю ночь. Она была обычной кошкой- безумно красивой и совершенной для меня, и строптивой да кусачей для всех остальных.

Почему животные так любят детей? Потому что дети с ними на равных и потому что иногда у детей кроме них никого нет...)

После долгих скитаний по общежитиям мы наконец получили квартиру. Я в нее влюбилась с первого взгляда- напротив лес, темный сосновый лес, полный странностей и загадок. Да собственно та квартира, как и все вокруг стали для меня загадкой (...годы спустя до меня дойдет слух, что в том пятиэтажно-кирпичном “трестовском” доме, то ли умирают, то ли кончают жизнь самоубийством многие мужчины после 40 лет. Особенно если учесть, что квартир там было немногим больше пятидесяти...)

С каждым днем я открывала что-то новое. Например, что лес за окном не такой устрашающий и дремучий, каким я его представляла в начале. Впоследствии он оказался милым и гостеприимным, и я нашла в нем себе друга. Конечно, называть его по имени было бы как-то глупо, но он был мне близок и призыв Маугли “мы с тобой одной крови” был мне абсолютно ни к чему. Мы с ним и так были одной крови. Целые дни я проводила у мамы на работе, слоняясь по разным кабинетам, как голодный волк вертась вокруг детсадовской кухни, домой мы возвращались только под вечер. Папа работал в том самом страшном лесу “ракетчиком”, в некоем скрытом от глаз ракетном комплексе на самой верхушке этого леса.

В новой квартире я была всем ужасно напугана. Особенно кошмары одолевали меня под вечер (...с моими страхами темноты боролись: педиатры, невропатологи, йоги-профессионалы и йоги-любители, бабки-колдуньи и бабки-знахарки, но видит

бог, все было по большей части бесполезно, ибо от их пристального внимания к моим проблемам, а более того, от попыток лечить мои проблемы моими же проблемами, мне становилось еще страшнее. Иными словами, после странной секретной операции некой “бабы Натальи” по выливанию вонючего воска в воду, сопровождаемого заклинаниями и нашептываниями, и репликами типа “я вижу длинноволосую женщину у тебя за спиной” я спать не могла наверное месяц. Единственный нужный для меня выход был, а думаю, сводить меня к советскому доктору, который бы выявил у меня большое содержание адреналина в крови, и назначил бы снадобье по его уменьшению. Но этого как назло не происходило, а атмосфера оккультизма вокруг моих родителей и их друзей добивала все больше и больше меня и мое богатое воображение по какому-то злему умыслу соединенное со слабой психикой...) Особенно страшно становилось ночью, когда все вокруг замирало и власть перемещалась в руки теней. Ночью оживало все то, что я совершенно не имела никакого желания оживлять- столы, стулья, потолок и стены, но самое оцепеняюще-невыносимое создание была огромная репродукция “Незнакомки ” Крамского в зале на стене. То есть именно там, где помещалось мое койко-место.

Конечно эта женщина была прекрасна, и тонкие черты лица, и изящество линий- все безусловно было красиво. Но мне эта жоржеточно-горжеточная дама внушала животный страх. Самая главная пытка для меня был щелчок выключателя, ибо после этого свет уступал место тьме, и она торжествующе начинала улыбаться, скалясь прямо мне в лицо. И, понятное дело, оживать. Даже мучительно преодолев себя и заснув, я просыпалась от ее пристального взгляда на мне.(...это было воистину невыносимо. границы власти искусства над человеком еще не изучены, и всевозможные искусствоведы и критики, толча воду в ступе и зарабатывая себе писательством деньги, всячески обходят этот вопрос. К искусству я долгое время была равнодушна. Во-первых, в Геленджике его мало, а зеленая фабричная копия “Мадонны Литты” бедного растиражированного Леонардо не вызывала во мне ничего, кроме зеленой тоски. Местные “пейзажисты”, к одному из которых меня чуть не затолкали в ученицы, вызывали у меня отвращение, так как их березы, которых в Геленджике отродясь не бывало, были лживы и их красоты больше напоминали палехские шкатулки. Одним словом, с раннего детства я решила, что не люблю искусство, и на этом и успокоилась. Но эта чернобровая бестия Крамского, висевшая над моей головой и внушающая мне животный ужас, казалось, была способна отбить напрочь оставшиеся во мне флюиды почитания прекрасного. Я ее ненавидела. Ее взгляд...)

Как бы я не поворачивалась, она смотрела на меня. Прямо в глаза. Иногда подмигивая. Это была недобрая, нездоровая женщина, как и сам Крамской, наверное. Особенно они расходилась во время полнолуния. Свет луны падал прямо на картину, лучи играли на ее губах, глаза оживали. Я не могла более выносить этого, и со скоростью отчаявшегося зверька подпрыгнув на диване, снимала это привидение с его боевого поста и ставила рожей к стенке. Но даже находясь в подобном униженном и оскорбленном для живописи положении, мне иногда казалось, что тонкие дымчатые ручки и хваткие пальчики легким туманом вырисовываются из-под этого, повернутого к стене куска фанеры и направляются ко мне. (...к слову сказать, гораздо позднее узнав о существовании абстрактного



искусства, лишённого томных глаз, недвусмысленных дамских улыбок и безопасного для психического здоровья, я выбрала именно его в свои фавориты...)

Таким образом, эта дамочка сильно повредила моей психике, ибо спать на коврике в родительской спальне стало обычным делом для меня.(...а я была в свои 7 лет бесконечно далека от вопросов человеческого размножения, так как почти не общалась с детьми, а от родителей на стандартный вопрос “откуда берутся дети” добились лишь “от большой любви” и на том и успокоилась. Таким образом я была уверена, что мое существо, уютящееся на коврике у них возле кровати, вызывало только умиление. Папа, встав ночью, иногда наступал на меня спросонья и обреченно переносил детское тельце на теплую постельку, где есть Люди- и это было равносильно обретению долгожданного покоя после скитаний по светящимся, вонючим и воющим в ночи болотам с чертями и лешими, то есть там спала мама, а сам он отправлялся в зал подвергаться гипнозу и террору господина Крамского и его Галатеи. Но, как не обидно мне было, на него все их ухищрения не действовали..)

Но днем, когда эта долгая и ужасная ночь кончалась, я была счастлива в своем жилище. Мне оно казалось идеалом уюта и красоты. Потом мы купили цикламены и они цвели для меня целую зиму. Это было незабываемое впечатление- весь белый подоконник, усыпанный божественными лотосами, совершенными во всем. Это маленькие белые огоньки стали мне отрадой на всю зиму.

А лето и осень дарил мне мой лес. Я не боялась его совершенно, способная шататься в поисках волшебных озер, которые как-то выдумала, и в существовании которых была уже абсолютно убеждена, часами. Я могла совершенно одна уходить далеко –далеко, петь песни моему дивному лесу, разговаривать с соснами и кустами держи-дерева. Маньяки, зэки и прочие ужасы современного мира пугали меня не более божих коровок, так как днем лес был лишен всех тонкопальчих, бледноглазых и темно-туманных ночных кошмаров моего воображения. Когда я уставала от шатания по бесконечным пригоркам и полянам, то садилась на траву, наслаждаясь видом на море, расстилавшееся зеркальным блюдцем внизу и ,огромным и неизвестным тогда для меня, городом. Мне пели цикады и беззаботные птицы, и конечно же это были соловьи.(..навверное...) Мне сияло солнце и я была счастлива. Они все – и лес, и трава, и соловьи (...которые при ближайшем рассмотрении могли бы оказаться и воробьями..) - все они были моей частью, помогая мне выжить в этом мире.

Особенно я любила осень в лесу. О, нет ничего прекраснее геленджикской осени!

На севере первая красавица зима, с ее сугробами, метелями, хрустящим под ногами снегом, белым-белым, переливающимся на солнце. Но снегом нас бог обделил, весна у нас красивая, но грязная, лето- знойное, душное, ненавистное пекло, по душе только хронически замерзшим северянам. А осень- это волшебница, которая взяла у земли все удивительные краски и разбрызгала их по земле.

“Чудесная пора, очей очарованье”. Пушкин не видел нашей поры, у него навверное не хватило бы красок и слов, чтобы воспеть всю прелесть очарования нашей осени. Это нельзя передать словами- это можно спеть, сыграть, нарисовать. И каким надо

быть поэтом, чтобы выразить все, чего достойна эта красота! (...она была так не права в свои 16 лет... Количество восхищений и восклицательных знаков с возрастом постепенно уменьшается, уступая место разглядыванию и, наконец, осознанию. Природа всегда становится нашим первым и самым сильным потрясением на всю оставшуюся жизнь, это первое “прекрасное” к которому мы прикасаемся, не осознавая четко, насколько это общение значимо для всего нашего существования.

Я не могу сказать сейчас точно, люблю ли я или нет ту, необыкновенную геленджикскую осень, пленившую меня пару десятков лет назад. Когда сравниваешь осени- краснодарские, петербургские, московские, какие-нибудь франкфуртские или ново-английские- все они едины в одном. В том, что это последнее быстротечно-безумно красивое откровение природы перед умиранием.

Осень красива везде, и везде по-своему. В Петербурге- краткостью и грустью, обнимающей поникшие скульптуры в парках, и это соединение камня, дворцовых развалин и позолоты листвы забываемо. В Москве осень очень яркая и карнавальная, перемешанная с колокольным звоном и рябиной, в Новой Англии-осень бесконечная, теплая и разноцветная, кажущаяся летом с желто-красными листьями.

Но в Геленджике почти нет осени. Это город без осени- он плавно погружается в сухую траву и падающие сухие листья в середине августа, и это тихое, незаметное отмирание лиственной природы длится до конца ноября. Та девочка в 16 лет мечтала об осени, которой в сущности никогда и не видела, родившись в городе хвои, сосен и песка и начитавшись Пришвина и Паустовского. На Севере есть осень повергающая в немое оцепенение своим разноцветием, на Юге – осень темного, глубокого, непривычного, не по-южному высокого ультрамаринового неба. Прозрачного моря, постепенно замолкающего от суматохи лета... Высушенной солнцем травы и оранжевых виноградников, облепляющих склоны, спускающиеся к такой же ультрамариновой как и небо воде. На Юге осень оранжево-изумрудных сосен и изредка прорезанных желтизной платанов и акаций. Эта осень манящая, мягкая, как мурлыкающая кошка. Тихая, в отличие от кричащей, краткой грусти Севера...)

Жизнь стоит того, чтобы хоть раз увидеть это чудо, достойное кисти богов. “Зловещий блеск и пестрота деревьев, багряных листьев легкий, томный шелест...” Много слов было сказано и посвящено этой красавице, мои лишь нелепое дополнение к ним. Но я всем сердцем люблю это время, воспетое поэтами, этот город, которому поэты еще посвятят свои песни, и эту землю, которую боготворит каждое существо, способное это сделать...

Я люблю жизнь, особенно если вокруг красота, ни с чем не сравнимая, и мир, сотканный для счастья и света. “Речь дана человеку, чтобы скрывать свои мысли”, - сказал один философ, наверняка обиженный жизнью (...как же это она с моим любимейшим Ницше обошлась...). Речь дана человеку для того, чтобы петь песни той жизни и посвящать ей стихи, чтобы благословлять этот мир, в котором ты родилась и живешь, и каждое мгновение, подаренное тебе богом.

Как-то мама купила мне собаку. Курносого пекинеса, которого звали Чапка (...почему то всех пекинесов зовут Чапками, хотя вроде это странное имя не имеет ничего общего ни с китайскими императорами, генетически изуродовавшими собачье существо и максимально его приблизившее к китайским канонам красоты, ни с Китаем вообще...) Мы все ее очень любили, возились с ней, обожали. Но однажды оставив это декоративное собачье растение одно, уехав отдохнуть в Сочи, потеряли. Она умерла на руках, от какой-то обычной собачей болезни, так как у нее не было прививки от нее, немного оставив в моей душе. Лишь горечь разочарования, онемение потери и страх перед смертью...

Когда-то тогда я впервые стала писать стихи, а фельетоны я писала с самого детства, как только выучила все буквы.(... ибо читать ненавистного Буратино было равносильно каторге. А так как эти самые буквы, которыми написаны книги такие милые как переведенные Маршаком английские песенки или гофмановский Шелкунчик, были невообразимо притягательны, то я недолго размышляя и руководствуясь принципом “помоги себе сам ” и последним из про-марксистских тезисов Фейербаха, что ”философы только объясняли мир, вместо того, чтобы изменять его” решила сесть за перо. Кажется это был то ли первый, то ли второй класс школы. Эти фельетоны до сих пор у меня сохранены и поражают своей недюжинной похожестью на нечто приближенное к литературе, написанной аккуратным кругленьким почерком второклассницы и поясненной рисунками...)

Я помню, что сдала экзамен, но родители, недолго порадовавшись, ушли в гости, оставив меня одну в ненавистной, населенной всевозможной чертовщиной квартире. Я выскочила на балкон, бывший последним прибежищем солнечного света перед надвигающимися сумерками, чтобы до последнего оставаться с солнцем, заходящем и тонущем в море. В комнате уже был мрак и я провожала каждый луч света с обреченной надеждой и ужасом, наслаждаясь потрясающей красотой сумеречного багряного города. И я написала второе стихотворение в своей жизни : “наступает вечер, зажигает свечи, тьма обнимает город мой, ах, как не хочется быть в этот вечер, в столь чудный вечер опять одной” (...первое ненормально длинное стихотворение было мною посвящено Геленджику где-то в классе втором-третьем. Это было что-то вроде :”слышен ропот прибоя в бухте маленькой той, чайки с криком летают над седою волной, и стоит возле моря небольшой городок, чайки солнце да море и горячий песок...”. Ну и так далее. Это было очень милое чукотское перечисление всех райских прелестей жизни в родном городе. Взрослые отмечали его взрослость, или, точнее, “недетскость”...)

А потом было новоселье у Ирины Васильевны Кусиди(...греческой красавицы с консерваторским образованием, работавшей у мамы муз.работником и бывшей главной героиней моих фельетонов. По причине высокообразованности она была не очень напористая, в отличие от местных девиц, зачастую недоучивавшихся и до конца школы, и соответственно, одинокая и мечтательная. И меня к ней тянуло как магнитом, потому что она кроме всех своих явных и скрытых достоинств, обладала святыней в руках- она писала сценарии к утренникам. А это было для меня равносильно пьедесталам Вахтангова и Мейерхольда, казавшихся мне серыми, могучими великанами искусства. Я все время крутилась возле нее, норовя заглянуть в розовые в клеточку тетрадные манускрипты, где красовались заветные

“слова ведущего”, ”реплика снегурочки” или ”все слушают вальс снежинок”. На эти представления детсадовского творчества я как замороженная ходила пока не начало одолевать то самое “половое созревание и трудный возраст”, когда все нормальные дети теряют голову и влюбляются “по-честному” во все объекты мужского пола, желательно взрослые и с усами...) Было новоселье в каком-то общежитии у Ирины Васильевны, и ободранный котенок, непонятно по каким причинам приглянувшийся маме. Она за ним гонялась до изнеможения, пока не поймала. Котенок забился под кровать и вылез только под влиянием бантика, привязанного к веревочке. Таков уж был обычай- приходиться на новоселье с котом...

Котенок оказался кошечкой. Я ужасно не хотела тащить его домой. “Мама”, - кричала я. ”Мы его украли, оставь его, он все равно сбежит...”

Но так как это была бы не моя мама, если бы она сделала что-то не по-своему, и уверив и растрогав меня тем, что “такие ободранные и грязные коты обычно ничейные и брошенные ”, мы каким-то образом донесли это кусачее создание до дома. После недолгой голодной забастовки под шкафом, оно опомнилось и смирилось со своей участью. И стало полноправным членом семьи.

Я не могу ее забыть- она стоит перед глазами. Несчастливая, забытая, но все еще любящая своей непонятной кошачьей любовью. Я, такая добренькая, великодушная, та, которой она была предана всю жизнь, никогда не забывая. Та, которая любила ее до потери сознания, или это была лишь страшная детская фальшь. Ей-богу, я не знаю. Я лгала себе, ей, близким, предавая самым последним образом. “Мы в ответе за тех, кого приручили”, - эти слова надо повесить на каждом заборе, на каждом доме и на обложке каждого учебника. Потому что маленькое детское предательство становится темным тяжелым камнем всей оставшейся жизни.

Я предала двух самых близких мне, любимых существ- ее и бабулю. Неужели они мне это простили? Я любила их больше жизни, но не выдержала испытания боли, безгливости, уродства.

Это не может быть прощено никогда.

Кошку назвали Ю-Ю, в честь одноименного рассказа Куприна. Все ее называли по-разному, как кому нравилось (...моя подруга детства Наталья Викторовна Фетисова так впоследствии назвала свою дочку- то есть Юля, конечно. Но часто она называла ее Юшкой...)

Для меня она осталась Юшкой. (...строптивой, нежно-пушистой, с прозрачными желтыми глазами и белым пуховым животом. Взрослея, она становилась все красивее, поменяв котеночье безрассудство и задор на кошачью, женскую грацию и медлительность...)

Она была целой страницей в моей жизни – тяжелой страницей, которую не хочетсяшний раз перечитывать. Я ее обожала- она была срисована у Куприна. Настоящее кошачье чудо! Дымчато-серое, с рыжиной и голубоватыми пятнами по

бокам. Пуховая и мягкая, как снег, становящаяся иногда злой и неприступной недотрогой. Ласка в ней сочеталась с ершистостью, но никогда с грубостью. В ней грубости не было ни капли- она была соткана из воздуха и ветра. Но где-то внутри сидела пантера, на которую натыкались все, кроме меня. Это существо было гордым и независимым, прямой представительницей “кошки, гуляющей самой по себе” . Это была воистину неприступная крепость, сердце которой можно было завоевать лишь с большим трудом. Какой скульптор ее выточил из мрамора? Какой ветер наградил ее шелковистой шерстью? Какая недоступная пониманию душа была внутри этого создания? Королева или Нефертити, слишком любившая свою свободу и независимость. Помнила ли ты свое прежнее лицо, прекрасное королевское бледное лицо египтянки на длинной шее...Слишком непохожа она была на кошку- темпераментна, умна, красива, холодна, горда, но способна любить горячо и страстно всю жизнь.

“Мяу” она не знала, только “мур-р-р-рк”. (... “мур-р-р-рк” когда запрыгивала ко мне на кровать, “мур-р-р-рк” когда неслась на кухню в предвкушении деликатесов, “мур-р-р-рк” когда ее звали.

“Юшка, Юшка”, - все свое детство носилась я за ней по лесу, по соседним дворам и по стройкам, и иногда вдруг что-то улыбающееся и сверкающее желтыми в темноте глазами свешивалось с ветки и говорило мне единственное незабываемое приветствие: “Мур-р-р-рк”... Я хватала ее дрожащими руками и как вор добычу неслась с ней, ободранной и мурчащей на руках , домой- купать, кормить, спать с ней...)

Юшка это целый отрезок жизни, я не могла представить жизнь без нее, дом без нее, ночь без нее. (...как-то незаметно она вместо положенного коврика в прихожей выбрала для отдыха мой ненавистный диван-раскладушку в зале, под фанерной улыбкой вампириши -“Незнакомки”. Каждый вечер, когда я как приговоренная шла в свою камеру ночных пыток имени Крамского, кошка стала приходить ко мне. Она баюкала меня- мурлыкала, топчась на одеяле, тычась носом и заглядывая в глаза, потом скручивалась колечком на груди и притворялась спящей. Конечно она не засыпала- открывая ночью глаза я часто ее замечала на подоконнике, точеную каменную недвижимую статуэтку, замороженно глядящей на луну . Или тихо играющей с каким-то мусором на полу. Или копошащейся с клубком ниток в кресле. Но как только она замечала, что я проснулась, она мигом запрыгивала ко мне на диван чтобы исполнить свой баюкательный ритуал. “Дети ночью должны спать”, - говорила она мне. “А мы, кошки, ночные животные. Мы наблюдаем мир...”

И так повторялось каждую ночь. Ненавистная чернобровая красота на стене постепенно смирилась с присутствием существа, охраняющего меня и с тщетностью попыток снова привести меня в состояние первобытного ужаса. Меня охраняла кошка, словно исполняя свой древний египетский ритуал или воплощая клятву, принесенную неведомо каким высшим существам. Она сопровождала меня повсюду. Поездки в автобусах совершенно не смущали ее, она с невозмутимым и несвойственным зверям спокойствием сидела на руках, разглядывая мелькание по ту сторону автобусного стекла, следовала за мной на дачу, и к бабуле, и к маме на

работу. На даче она носилась за ящерицами, пока я отработывала ненавистную прополочно-огородную повинность, у мамы на работе она тихо спала в кабинете. Когда я заболела (а я в основном болела в детстве бесконечными воспалениями легких), она ложилась мне на грудь. Мурлыкала, дремала, отзываясь на каждый мой приступ кашля своим лечебно-успокаивающим “мур-р-р-рк”.

После долгих детских мучений, предвещавших ночные кошмары и проведенных в маниакальном страхе темноты, я наконец спала ночью, не впадая потом в летаргию на уроках в школе. Мы не боялись оставаться вдвоем в квартире в самые для меня невыносимые сумерки – играли и носились за мячиками по прихожей, валялись в маминых “шитьях” и ”вязаниях”, невкусную, но полезную еду ели вдвоем. Я могла провести час, распластавшись возле ее тарелки на кухне и убеждая недовольно уставившееся на меня кошачье создание, что “это очень полезно есть овощи или суп, так как мяса нету и что я тоже с удовольствием поела бы мяса”. Такими коллективными усилиями мы съедали сначала содержимое кошачьей тарелки, а потом она запрыгивала на табуретку и, торжествуя скалясь, наблюдала как я борюсь с той же самой едой. Иногда она в темноте на кого-то шипела, иногда с кем-то разговаривала. Но каждую ночь, убаюкав меня и убедившись в моем спокойствии, она взлетала темным дымчатым облаком на форточку и в странном оцепенении как древний сфинкс неподвижно смотрела куда-то в ночь. Она могла не заметить, как я проснулась и тихо люблюсь ею. А потом я снова засыпала, понимая что наконец получила в подарок от неведомых богов и незнаемо за что это существо нечеловеческого происхождения...)

Я не могла представить квартиру без нее, жизнь без нее. Я помню дикий страх потерять ее, когда она впервые сбежала в конце зимы на свое первое “кошачье гулянье”. Я помню свои слезы ужаса...(и плач до спазмов в груди- так себя доводят только дети, не боясь умереть или задохнуться когда единственное любимое существо теряется. Когда ревут взрослые это чаще всего лишь фикция и беспроектный прием во взрослой глупой межличностной политике ..).

Неделю я носилась по помойкам, по подвалам, расклеивала объявления.

Злобная “Незнакомка”, неожиданно почувствовав свою силу, начала снова доносить меня по ночам, но мне уже казалось все равно. Ни один ночной призрак не был страшнее мысли, что я потеряла единственное, неразделимое со мной кошачье создание. Кажется, когда я уже была на грани самоубийства, она вернулась. Через неделю. Я прибежала с ней к бабуле, спеша разделить свою радость со всем миром. Мысль что эта любовь может пройти мне тогда казалась невыносимой.

Потом мы переехали в другую квартиру на Полевой, это был более-менее центральный район города в отличие от лесных просторов предыдущей квартиры и у меня наконец появились первые друзья. Юшка переехала с нами, восприняв новую квартиру как нечто само собой разумеющееся. Как обычно, она периодически гуляла, рожала котят, я их воспитывала и кормила молоком из пипетки пока она снова гуляла и вынашивала новых.

(...как-то получилось так, что в этом своем несурзном материнстве, которого она сама не понимала, и в моем бесконечном акушерстве ( я часто была рядом, когда она рожала) и котятно-воспитательстве, доводящем порою до истерики, мы что-то теряли. Я пыталась ей объяснить, что табун котов в густонаселенном микрорайоне совершенно не повод “спать” с ними со всеми, и что я не в силах возится с ее потомством, на которое после недели нежностей ей становилось наплевать. Но все мои доводы были впустую, ибо искусов полового вопроса способно избежать редкое существо. Я даже задумывалась над изобретением кошачих презервативов, но количество котов вокруг -а их были десятки, сотни, так как никто из-за котят не решается заводить кошек- было невообразимым, и снабдить их всех презервативами было соответственно делом нереальным.

Картину Крамского где-то выкинули при переезде или подарили кому-то, Юшка все также часто спала со мной, и лечила, все вокруг ее обожали и все снова было как прежде, но потом она вдруг резко вспыхивалась и ее уносило куда-то на недели, после которых она возвращалась ободранной, особенно в области хвоста, тощим, блохастым с пучками свалывшейся шерсти , созданием. Я не знаю, по каким пустырям она носилась со своей истощно орущей по весне свитой, и что она там ела, но однажды я заметила у нее странный виноватый взгляд. И невообразимые раньше попытки залезть на стол, и первое странное из ее уст “мяу” вместо привычного “мур-р-р-рк”...)

Какая-то пропасть возникала между нами, между мной и ею, уже не удивительной фараоншей из египетской сказки, гордой и своенравной, а Кошкой, обычной блудливой кошкой, которую соседские коты постепенно превращали в тощее подобие привидения. Мы ее отмывали, расчесывали, но запретить ей выходить на улицу, привыкшей делать все что взблагорассудится, не могли. Она бы спрыгнула с балкона, унеслась бы с щелку в дверях все равно, как бы мне этого не нехотелось.

Новая квартира? Она мне не понравилась. На нее было страшно смотреть- облупленная, ободранная, с отваливающимися дверными ручками и жирными пятнами на тошнотворно темно-зеленых советских обоях. Мне казалось, меня лишили всего- моего двора, леса, единственного друга-кошки, который потерял рассудок от обилия женихов в новом районе. Но потом, как некая компенсация потерь, у меня кажется стали появляться подруги, или первые смутные намеки на них - эффектная Юлия Боченкова из дома напротив и очаровательная Наташа Фетисова из соседнего подъезда.

(...мое запоздалое половое созревание дало о себе знать с прочтением “Мастера и Маргариты”, в те годы культового взрослого романа, который от меня чуть ли не прятали родители, заверяя , что “ты в нем все равно ничего не поймешь”. Я там все прекрасно понимала, и прочитав раз шесть весь роман, и раз десять сцену Бала где все голые купаются в шампанском, выяснила, что меня наконец стала волновать литература в принципе. После этого я прочитала всех Куприных, Гоголей, Тургеневых и Горьких, которых можно было раздобыть в собственном книжном шкафу. После шкафа я боязливо и ужасно стесняясь своих ненормальных для южной местности читательских наклонностей стала тайком посещать детскую библиотеку, понятное дело на улице Горького. А совсем после этого всего я

выбрала себе в принцы самого мерзкого мальчика в классе и безнадежно в него влюбилась.

Потом появились первые друзья. И это уже было в классе седьмом, наверное. Я вышла постепенно из обреченного круга одиночества, который преследовал меня с первых классов школы и влилась в свет бурной подростковой жизни, с дерганьем за косички, группировками, краснением, первыми набухающими ростками странных желаний, и, соответственно, с комплексами неполноценности из-за всего кроме пятков, незнакомыми странному безвременному детству.

Как-то незаметно умерла бабуля, Юшка все реже появлялась на горизонте. Ей выставили блюдце с едой за дверь и иногда она странной тенью появлялась возле подъезда, съедая положенное, и снова куда-то исчезая. То, что раньше называлось Юшкой, иногда пыталось проникнуть обратно в дом, но часто ее не пускали, так как однажды после нее в коврах и паркете завелись блохи, которых невозможно было вывести все лето. Я же почти уже не замечала ее то ли отсутствия, то ли присутствия. Я видела ее возле подъезда, она подобно дикой, бездомной кошке уносила от меня ноги, и только вдруг на какой-то сип, доносящийся из моей груди это странное существо произносило что-то отдаленно похожее на такое незабываемое “мур-р-р-рк”...

И на мгновение все внутри переворачивалось.

Это какой-то парадокс бесчинства времени, что все земные существа должны рождаться, взрослеть, терять все что есть в них ценного, цельного, единого за годы взросления и возмужания, а потом, возмужав до предела возможного, бесконечно сожалеть за слова, несказанные в этой безмозглой, бестолковой гормональной юности.

Сожалеть за поступки, совершенные или несовершенные тогда.

Юшка. Кто кого не узнавал в том глупом ненужном созревании- я тебя или ты меня?

Тебя принесли забившемуся в угол, скулящему от одиночества второкласснику, который постепенно превращался в подростковое чучело. Гонясь за какими-то мифами трудного возраста, я потеряла двух самых дорогих мне существ. Бесконечно, невозполнимо дорогих существ.

Однажды мне сказали, что “вашу кошку раздавило машиной”.

Я видела этот шерстяной блин, перемешанный с кровью и костями, лежащий посередине дороги. Я не помню, что я тогда чувствовала- я даже не похоронила ее, оставив лежать там же. Я тогда уже мечтала о Сереже Б., каждое утро важно размахивавшим дипломатом под моим окном. Когда перед глазами не было Сережи Б, я мечтала о Роме Б, а еще о Диме М., и об Андрее Р, а так же о Валентине Серове, Майкле Джеконе и каком- то одном из “Гардемаринов”, которых мы распределили между тремя подругами и истошно мечтали каждая о



своём.

В этой своей любовно-половой занятости я не сделала ничего, чтоб хоть как-то оправдать это ненужное свое, глупое, полное комплексов существование перед теми, кто был мне дорог. Но зачем, опомнившись через двадцать лет, пусть и не марать бумагу, но насилловать компьютер своими поздними раскаяниями?

Юшка...

Я бы хотела не знать ничего между детством и зрелостью. Никакой глупой любви, никаких первых поцелуев и женских слез, которые всегда лживы по сравнению с теми, детскими слезами. Никакого взросления в котором ты только теряешь себя. Когда ты, ошалев уносила к своим кошачьим женихам, я осуждала тебя. Когда я, мечущаяся в муках то ли первой, то ли второй или третьей любви, безразлично смотрела на тебя, размазанную по шоссе, вряд ли мы могли понять друг друга. Может быть каждый из нас думал нечто похожее, но кошки не умеют ни говорить, ни писать прощальных писем.

Прости меня...

Как-то осознав через какое-то время, что тебя больше нет, я немного поплакала, уткнувшись в плюшевого льва со стеклянными зелеными глазами. Но чем старше я становилась, тем чаще мне казалось, что я слышу твое "мур-р-рк" и мне хотелось снова, как в детстве, бежать навстречу и сжимать мягкую, мурлыкающую извивающуюся рыбку в объятиях.

Однажды мама потащила меня в церковь на исповедь. Я очень долго готовилась сказать, что виновата в смерти двух самых дорогих мне существ - кошки и бабули. Но так как с вербальным общением у меня всегда были проблемы, то пока я старалась выдать из себя это откровение, священник накрыл меня чем-то, помазал и сказал что-то вроде: "Юна еще. Безгрешна. Иди с богом".

Он хороший был, добрый. Но я пошла тогда, впервые задумавшись, что любое человеческое создание по сути своей лживо.

На самом деле, ни разу не сталкиваясь ни в какой литературе с тем, что происходит с животными в их загробной жизни, я верю, что когда-то, в другом, ином мире, где-то там я снова встречу с тобой.

Со всеми вами.

Там, где не надо будет больше притворяться.

05.02.02.Петербург.

# Кот и Петербург

И мрачным темным великаном  
Он каждый сон передо мной...  
(мне бы хотелось чтобы это написал Пушкин)

...а за окном запотели окна.

Я приехала на маршрутке из обычного серого промозглого города с одним лишь пониманием – я чувствовала это снова. Может виной тому были веселящие, заостряющие сознания снадобья Юлии Петровой, или то, что каких-то два дня назад я, перелетев океан, приземлилась в Пулковском аэропорту. Не знаю. Лишь одно – я давно мечтала об этом....

\*\*\*

В первом классе у меня была учительница- Таисия Терентьевна. Она была строгой и грузной, поведением больше напоминала самодуров из русской классической литературы и мы были ее последний класс перед пенсией. Оценки в моем дневнике колебались с невероятной амплитудой и были то “пять”, то “два” ( “два” обычно было по поведению, хотя я совершенно ничего- ни плохого, ни хорошего – не делала. Наверное это тоже вызывало ее негативную реакцию. Часто она признавалась, что ей больше по душе добрые, прямые и открытые “троечники”, таким образом я попадала в какую-то лагуну странных скрытных молчаливых личностей, с которыми надо было действовать решительными мерами, и которые были хоть и неопасны, но как-то нежелательны. В результате я , понятное дело, тихо научилась выводить яйцами и спиртом бесконечные двойки в дневнике, а так как она была очень импульсивная и оценки, а также плюсы и минусы к ним , раздавала горячо и помногу, то моих “скрытных подлостей” не замечала.)  
Временами она могла издеваться и ерничать, могла даже поставить “кол” за то что улыбаешься во время урока по непонятным причинам (до сих пор помню, что в тот момент у меня сохлись губы и я их растягивала). И она как-то очень тонко воздействовала на детскую психику, то есть была крайне авторитарным человеком, но несмотря на все это, ее навязчивые идеи были всем интересны. Это было подобно разнице между хорошим, добрым и покладистым пионер-вожатым и каким-нибудь эгоцентричным хиппи с бредовыми идеями и бесконечными, никогда не кончавшимися маниями. Конечно мы выбрали хиппи. Безусловно, мы ее боготворили и на все ее бредовые: походы в лесопарк возле психиатрической больницы, игры в “войнуха”, поиски каких-то непонятных прудов, встречи первого снега, соревнования за право быть самыми лучшими среди начальных классов, песни и хотьбу рядком, горланя до сих пор памятную песню про морячка-

путешественника ”Бескозырка белая, в полоску воротник”, отвечали взаимностью и энтузиазмом.

Она очень любила разучивать с нами песни, но как ни странно почти все они были про странный и далекий Ленинград. Про какую-то непонятную блокаду. И про смелых детей, сбрасывающих с крыш страшные “фугасные бомбы”. Я не знаю, что связывало ее с этим городом, но даже после начальной школы наизусть выученные песни, а потом само слово “Ленинград” вызывало какой-то не то трепет, не то напряжение во всем теле. Не помню, с какими знаниями я вышла из начальной школы, наверное я тогда уже наконец превратилась в бесконечное нечто, “которое могло бы учиться на “отлично”, но не хочет”, но одна истина запала глубоко в душу : где-то на берегу страшных темных морей есть город, где все время темно и живут свободолюбивые “друзья со флота, недавно из похода”, и этот город чуть ли не самый главный на земле.

В средней школе у нашего класса, лишившегося злобно-любимого тирана Таисии Терентьевны появилась новая любовь, которая была далека от тирании совершенно. Ее звали Эмилия Ивановна, она была стройной и строгой, как натянутая струна, обезоруживающе интеллигентной и была для меня воплощением какой-то непривычной для юга тактичности и душевного благородства, так что я сразу почему-то тогда решила, что именно такие люди должны жить в странном северном “Ленинграде”.

А еще через несколько лет, зимой, я туда попала. Один из старших классов ездил на экскурсию, и мы, трое любопытных семиклассниц, увязались вместе с ними. Честно говоря, я мало что помню. Была зима, темно, страшно и слякотно. Над страной висели самые жестокие послеперестроечные годы, когда очереди за мукой и мылом по талонам выстраивались на сотни метров, а магазины блистали стерильной пустотой. Ленинград ужасал последним. Кажется, сушеные бананы было единственное, что мы были способны раздобыть в этом консервном магазинном аду. Меня, спящую все время из-за холода и темноты, мучительно пытались растолкать показывая Павловск и Эрмитаж, но даже там я находилась в каком-то транквилизаторном состоянии не осознающего ничего сонного подростка. Я все время спала и безнадежно любила Рому с бульдожьей физиономией, боксера и сына директора школы. Но странное чувство аномальности всего вокруг, непохожести и затягивающей глубины этого города у меня осталось.

После Ленинграда мы посетили Москву, очнувшись наконец от потустороннего оцепенения, где накупили еды и туалетной бумаги, с которой в те времена было не стыдно ходить и на день рождения. Впоследствии в Геленджике я периодически наталкивалась на редких выходцев из Петербурга. Они были неадекватно вежливы, вкрадчивы, их было мало и они вызывали у всех удивление своей чужеродностью. Мне они казались неким подобием бесплотных ангелов, живущих где-то далеко в своих северных темнотах и щурящихся от яркого солнечного света. В то время как москвичи, толпами наведывавшиеся на Юг, были ресторанно-шумными, шубуршными и модными, странные тихие ангелы прятались по каким-то расщелинам, пустырям, держались стайками и как мне казалось, шарахались от ненормальной красочности и людности.

Я к ним приглядывалась.

Моя жизнь в Краснодаре больше напоминала мне ссылку из-за своей скуки, бестолковости и по большей части моей в этом месте ненужности, а странные серые ангелы казались мне бес-ко-нечно высшими созданиями( в Краснодаре я разведала один неоценимый источник информации под названием “журнал Наше Наследие”. Его издавал Лихачев в Петербурге, его выписывала мама и , как следствие, бережно изучала я, от корки до корки смакуя, уча наизусть стихи Вертинского и Клюева, зачитываясь никому тогда особо неизвестной Башкирцевой, восхищаясь Теффи, ломая голову в странностях далекого и непонятного русского авангарда . Я не понимала, как человеческим существам может быть дозволено жить в Царском Селе или Петродворце, которые на фотографиях глянцевого журнала казались какой-то непостижимой Аркадией на земле. Я туда как-то безнадежно, беззвучно хотела...) и при первой же возможности я устроила родителям истерику и наговорила кучу ужасов, которые могут быть следствием того, если меня вдруг к серым ангелам не отпустят. Папа как всегда тормозил, но мама, будучи личностью не по-российски прогрессивной, всегда понимала все правильно. Одним словом, однажды я укатила на поезде, в котором всю дорогу стучала зубами от предстоявшего ужаса. Ужас оказался велик в моем слегка отсталом провинциальном развитии, с которым я начала войну с первых шагов на земле серых ангелов, и как-то потихоньку все образовывалось.

Приехав сюда во второй раз, я, начитавшись нужной литературы, обдуманно приоткрывалась к очарованию и восхищению. Но особого восхищения я все никак не испытывала. Я старалась, исправно гуляла, искренне понимая и прелесть, и камни, и красоту, и историю. Каждое воскресенье я убивала часы в Эрмитаже насыщаясь историей искусств и пытаюсь запомнить бесконечные полотна хоть по месту расположения. Сложности были невероятные - так как их все время меняют. Потихоньку я выяснила, чем фактически Рембрант отличается от Рубенса, и что мне больше всего нравятся Лентулов и Эль Греко. Последних я запомнила и выпаливала их имена пулеметной очередью когда локальные интеллектуалы пытались со мной знакомиться. Одна из моих подружек по общежитию устроилась работать буфетчицей в Санкт-Петербургскую филармонию, и я могла свободно с заднего входа приходить на репетиции или просто стоять на балконах на всех концертах, вместе со студентами Консерватории. Я дни и дни проводила в этом прекрасном месте, открывая для себя новые и новые миры. Господи, столько историю..... Столько воспоминаний.....

Но какого-то восхищения я все никак не испытывала, несмотря на старания преподавателей и на обилие дворцовых прелестей. Как будто неощутимое «временное» состояние разлитое здесь было несвойственно моему пылающему огниву из готовых в бой органов восхищения. Я изо всех сил старалась прикоснуться, но у меня не получалось...

НО.....

Однажды была зима. Я, скукожившись, ползла из Мраморного дворца по Марсову

полю к Инженерному замку и вдруг взгляд на мгновение остановился на каких-то ржаво-оранжевых впадинах на крыше Инженерного, чей шпиль терялся в тумане липкой мороси. И это было словно я в первый раз прочитала книгу, бесконечно втянувшую в свой мир, и мне не хотелось ее закрывать. Я стояла как молчаливый идиот в луже на Марсовом поле и отстраненно созерцала влажную пыль, растворенную в воздухе, и еле вырисовывающийся замок, то пропадающий в порывах ветра, то снова проявляющийся, и точки ворон на сером небе. Не помню, сколько времени я мерзла там, но именно тогда в первый раз почувствовала столь всем знакомый холодок по спине прикосновения к чему-то истинному. Странное ощущение откровения мира с тобой... Как-будто притаившийся неслышный серый зверь, лежавший в тихом невидимом тумане, и наблюдавший за мной, вдруг решил заговорить.

И в считанные секунды все преобразилось. Словно заговорил каждый камень, каждая облупившаяся стена в этом городе, говорили вода, мосты, влажные крыши. Будто где-то высоко над тобой открыли затвор и история, та, которой не видно, но которая присутствует во взглядах, шепотах, ночных скрипящих фонарях, в молчании статуй и обветшалых зданий, полилась в тебя. И город стал хором из множества голосов - тихих, давно ушедших, незнакомых - я это все поглощала как голодный кит. Грязь отныне казалась патиной на старой королевской бронзе, а морось наполнилась сонмом теней – настоящих, прошлых, будущих.

Эти чувства становились все ближе, все отчетливее, но... в какой-то момент я их перестала замечать. Удивительное больше не преследовало. Словно твое восхищение и благолепие перед учителем переросло в некое вбирание его в себя, и ты уже не чувствовал странной разницы в мыслях и чувствах. На смену цепенящей будоражающей иерархии пришли цельность и единство, какая-то покойность. И в этот момент я поняла, что я отсюда уеду...

Я не помню (моя память всегда оставляла желать лучшего), кто из мыслителей ввел обиход понятие *Genius Loci* или гений места. Но когда я впервые с этим столкнулась в книгах, для меня это было откровением в истории культуры. Я не встречала много мест, наделенных этим чувством, или может быть мое внутреннее эхо было безразлично к гениям тех городов. Для меня это ощущение и оно подобно живому существу, с телом из камней, организмом из человеческих мыслей и душой из сгустка истории и настоящего. В Петербурге это чувствуется особенно остро. Для меня после Геленджика Петербург был вторым городом, где я это чувствовала - что это живое существо, говорящее с тобой и живущее в каждом камне.

Слишком многие пытались вдохнуть в него душу, и он, наконец, ожил. Это оцепенение и ощущение праха мира, его забвения, его шепота в ладонях казались такими странными и нереальными.

Я никогда не хотела ни рисовать, ни писать для тебя, потому только, что понимаю в такие растворенные в тенях и в диком искрение-детском восхищении ночи всю силу с которой можно любить ЭТО место. И понимаю, что на это способны только родившиеся здесь...

Я не в праве. У меня есть город гораздо более любимый.  
Но ты, вечным сизым камнем где-то за плечами. Родным. Препетным. Снявшимся  
мне везде куда я не ехала.... Притаившимся в тишине туманом.

Когда я поняла, что уеду отсюда, неизвестно куда - а я сбегала в Москву, обратно в  
Геленджик, в Бостон, наконец, - то была невероятно счастлива своему  
предчувствию. Потому что в каждом городе со зверем надо быть гостем, не успевая  
разлюбить его, возненавидеть, пресытиться.

Я мечтаю приезжать сюда и чувствовать это странное оцепенение открытия снова  
и снова. словно тихое зимнее существо здороваются с тобой, ты оборачиваешься и  
всякой раз его приветствие отзывается знакомым холодком по спине.

Здравствуй, зверь. Я приехала пять дней назад, сегодня пойду в Эрмитаж, завтра в  
Музей Набокова договариваться о выставке, а послезавтра уеду к другому зверю.

Прости, но я так бесконечно хочу, чтобы ты всю жизнь оставался мне дорог....

07.02.02.